

КСЕНИЯ ОРЕЛ

ТРИ ЖИЗНИ ЗАГОВОРЩИКА

ДЕНЬ НЕВОЗМОЖНОГО



Ксения Орел
День невозможного

«Автор»

2020

Орел К.

День невозможного / К. Орел — «Автор», 2020

1825 год. Два друга-офицера, князь-идеалист и честолюбивый купеческий сын, решают бросить вызов самодержавию и изменить судьбу России. После смерти императора Александра у заговорщиков есть шанс совершить переворот, объявить Российскую Республику, положить конец самодержавной монархии и крепостному праву. Что делать – поставить все на кон, ради своих идеалов идти до конца? Отойти в сторону? Помочь правительству? Каждому придется делать выбор, и за любой выбор придется платить... Первая часть исторической трилогии “Три жизни заговорщика” повествует о невероятных судьбах реальных личностей и по дням и часам восстанавливает драматические события незабвенного восстания декабристов. Но для главных героев история только начинается...

© Орел К., 2020

© Автор, 2020

Ксения Орел

День невозможного

1. НЕ СОВСЕМ СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО

Не так плохо быть шестеренкой в часах, если часы столь блестящи. Так уговаривал себя Яков Ростовцев, подпоручик и в будущем возможно даже министр, когда глядел на гвардейский смотр на Марсовом поле.

Грозовым и сверкающим утром ноября 1825 года шли маршем лейб-гвардии саперы в своих черных мундирах, за ними – измайловцы в зеленых. Нежданное солнце сияло на стальных штыках. Вокруг были дворцы, и сады, и казармы, за казармами – Петербург, за ним – Россия от Варшавы до Нерчинска. И он, Яков Ростовцев, был теперь частью этой махины – армии, победившей Наполеона.

Кричали чайки над еще не замерзшей рекой; ветер свистел в ушах, вздымал серую пыль на плацу, швырял в лицо первые снежинки. Великий князь Николай Павлович, младший брат императора Александра, кивал в такт каждому шагу – будто одна его воля одушевляла этот точный механизм, где каждый знал своё место. Но песчинка попала в часы.

Ветер налетел и сорвал с Якова шапку. Он не успел её поймать – мог только смотреть, как треуголка с белым султаном описала дугу, приземлилась под ноги солдат. Гренадер слева чуть не наступил на нее, дернулся, качнул прикладом – задел соседа. Два ружья с лязгом сцепились; солдат споткнулся, замедлив шаг. Рябь прошла по рядам. Строй, с таким трудом созданный, сбился.

У Николая между бровей прорезалась злая морщина. Собиралась гроза.

Генерал Бистром, герой войны и всеобщее начальство, побряхтел, подхватил своего августейшего ученика под руку.

– При Бородине у застрельщика тоже шапка улетела. Ну что – пошёл за ней в атаку. Шапки не вернул, а Георгия за храбрость добыл себе.

– Только здесь атаковать будут нас, – сощурился Николай, глядя на вновь выправившуюся роту. Треуголка, вся в пыли, откатилась почти к подножию помоста. – Вы сами учили: где сбился строй – туда и ударит неприятель. Я знаю, что моя гвардия подготовилась отвратительно. Виновные будут наказаны.

Бистром сморщился, будто у него разом заболели все зубы. Яков стоял по стойке смирно, считая секунды до выговора – шестерёнка, из-за которой сбился механизм. Но Оболенский, адъютант генерала, шагнул к Бистрому, что-то прошептал ему на ухо. Генерал выслушал, и хищная улыбка расплзлась по лицу старого вояки.

– А кто виноват, если солдат ещё боя не видел, а уже валится с ног?

– Командир. – Николай побледнел, но почти не задержался с ответом.

– Говорил я вам – дайте солдатам выходной перед смотром, чтоб не было делали глупых ошибок вроде этой? Говорил. Приказ был? Был.

Голос гремел: Бистром шел в атаку всей своей широкоплечьей мощью. Бистром был командир гвардейской пехоты; Николай (пусть и брат императора) подчинялся ему как бригадный командир.

– А вы что? Вы этот приказ нарушили. По справедливости, это вам положен выговор.

Николай слушал стойчески. Сжал кулаки, извинился, поклонился, бросил ледяной взгляд – не на генерала, а на его адъютанта. Оболенский стоял смирно и улыбался очень вежливо.

Их отпустили; в щегольской коляске Оболенского они ехали обратно в штаб. Яков округлил глаза: уфф, ну и смотр! – но Оболенский будто не замечал его.

– Зачем вы...?

– Зачем я разозлил великого князя? – Оболенский очнулся и ответил совершенно серьезно: – Потому что Господь создал человека, чтобы тот был свободен и счастлив. И если строевой устав тому не способствует...

Оборвал сам себя, взъерошил свои безупречные кудри и только плечами пожал:

– Я составлял расписание учений, потому и знал, что Николай назначил смотр в выходной. Я просто напомнил об этом генералу – вот и всё. Не благодарите. Себе я тоже доставил неудобство – Николай ни одной бумаги нам теперь не подпишет.

– Н-не в этом дело! – Яков разозлился на себя. Он заикался с детства, особенно когда хотелось говорить чётко. – Н-нам будет хуже – но солдатам тоже лучше не будет. Великий князь теперь не отстанет, только сильнее будет гонять.

Тянулись за спиной бесконечные казармы Конюшенной площади. От манежа несло конским потом – у кавалерии тоже были учения. От набережной доносились флейта и барабан: полки уходили обратно в казармы. В прозрачном небе разливался закат – красный, оранжевый, сизый. Шпиль Михайловского замка горел как меч в небесах, и лицо Оболенского было будто освещено тем же огнем. Тот все молчал, нахмурившись, а потом рассмеялся:

– Вы правы. Моё вмешательство ничего не изменит. А что бы вы сделали на моём месте?

«Ничего бы я не сделал», – буркнул про себя Яков, сверля глазами дорогой экипаж, идеально сидящий мундир, улыбку, осанку человека, с рождения привыкшему к тому, что его слушают с уважением. Князь Евгений Оболенский был из Рюриковичей – из рода древнее даже императорского семейства. Оболенский мог позволить себе фрондерство.

– Я не смеюсь над вами, – негромко сказал Оболенский. – Я знаю, что очевидный ответ – «ничего». И знаю, что этот ответ вам не нравится.

Кучер остановился у въезда на Невский. В ранних сумерках проспект с зажженными фонарями казался рекой, разделяющей два еще неведомых берега.

– Но у меня для вас хорошие новости. Мой друг Рылеев выбрал вашу трагедию для печати в «Полярной звезде». Звал вас на вечер – придете?

Яков собирался праздновать триумф – его трагедию «Дмитрий Пожарский» собрался издавать один из самых громких журналов столицы – но к середине вечера и забыл о стихах. Общество в известной квартире Русско-Американской компании было интереснее.

Дам вовсе не было; молчаливая Наталья Рылеева откланялась, не пробыв с гостями и часа. Были литераторы, издатели, офицеры всех родов войск, юристы – Яков узнал занудный голос дядюшки Штейнгеля, – и длиннородые купцы, обсуждавшие дипломатию и торговлю от Закавказья до Камчатки. Скандальный издатель Булгарин ругал Рылеева за то, что тот у него Пушкина переманил; Рылеев с ехидной улыбкой отвечал, что нужно-де платить гонорары, тогда и авторы потянутся.

Моряки толпились у стола с планом будущего музея русского флота: здесь будут модели Петра Великого, там – трофейные турецкие флаги, дальше – карты Камчатки Дежнёва и Беринга.

– Вот эту карту не забудь! – мичманы в синих мундирах подоспели со свежей картой морей Антарктики: «Только из печати – остров Торсон!» Упомянутый капитан Торсон краснел, уверяя, что это всего лишь утёс, но его хлопали по плечам и желали открыть ещё десяток проливов и островов.

Яков вертел головой, не зная, к какому разговору присоединиться сначала. Познакомился даже с поляками, высланными из Варшавы за какую-то крамолу. Те глядели гордо и обиженно, но когда Яков похвалил польский парламент – расцвели и наперебой звали Якова к себе. Они так хвалили свои вольности, что опять подумалось: почему только Польше дарован высший закон, конституция, а России – нет?

Пошли жалобы на придирки и глупости последних лет царствования Александра. Литераторы ругали цензуру. Какой-то молодой человек, по виду студент, сбивчиво возразил: несвобода бывает разная, но крепостная – худшая. Когда человека можно купить, продать, проиграть в карты...

(Никитенко был крепостной, – прошептал Якову кто-то из моряков. – Оболенский с Рылеевым год потратили, чтобы граф Шереметьев согласился отпустить его на свободу).

Опять поднялся шум. Студенту советовали не горячиться и вообще не начинать о политике; он терзал манжеты потёртого сюртука, но так и не решился возразить.

– Никто не может запретить рассказывать правду о своей жизни, – негромко сказал Оболенский, выступив вперёд.

Собрание как-то смолкло. В наступившей тишине все услышали хозяина вечера.

– Что это мы, в самом деле, – усмехнулся Рылеев. – Всё ведь совершенно законно. Что человека могут продать, купить, избить... Нас, дворян, это не касается – так? Но нас тоже могут сослать или в крепость посадить по доносу – тоже по закону.

Яков узнал интонацию Оболенского после сегодняшнего происшествия на плацу. Странно – эти двое не были схожи. Оболенский был князь и богач, со всеми спокоен и ласков; вместо полагавшегося по чину мундира носил все темное, серое, свободное, удобное. Рылеев был из провинциальной бедноты, стал удачливый издатель и щеголь; фрак у него был ярко-зеленый, с искрой. Но речи их были похожи. Словно оба жили в какой-то другой России, с другими законами – словно законы имевшиеся им были не писаны.

– Ты все злишься? – Булгарин подергал приятеля за фрак. – Не сходи с ума. Никто из нас не может, вообще-то, прийти к императору и вежливо ему сообщить, что он неправ. У нас, напомню, неограниченная монархия.

– Были и те, кто приходил к монархам, – возразил Оболенский так спокойно, будто речь в самом деле шла о разговорах. – Во Франции, в Испании... Четверть века назад – и у нас, в России.

– Только шли не одни, – усмехнулся Рылеев. – А с войсками.

Они возвращались домой по Петербургу притихшему, черно-белому, лунному.

Перед глазами мелькали лица поляков, мечтающих об утраченной родине, моряки с грёзами об островах, огоньки свечей в глазах Рылеева. Они с Оболенским сидели бок о бок, под одной медвежьей дохой, но князь молчал – скрестил руки и глядел в никуда, с выражением почти надменным.

– З-занимательный вечер, – начал Яков. – Н-не знал, что что у Русско-Американской компании есть дела со с-староверами.

– Да? – Оболенский наконец взглянул на него.

С чего-то Яков начал рассказывать о купцах, кто был на вечере, и кто ходит на кладбище в Малой Охте: староверам же запрещено строить свои церкви, но кладбище их, и там часовня...

Оболенский все глядел сквозь него – а потом вдруг сказал:

– Вы так говорите, будто хотите произвести впечатление. Но это не нужно. Я бы не хотел, чтобы вы меня опасались.

Яков едва не взвился – никого он не опасался! – но Оболенский продолжал спокойно, глядя прямо в глаза:

– Мне кажется, вас интересует не Русско-Американская компания.

Яков открыл рот, потом закрыл.

– Ваш друг Рылеев успешен в делах. Зачем он начал о политике? Когда он вспомнил тот переворот в Испании – генерал Риего и его батальон, парламент, ограничение королевской власти... Он чего хотел? Чтобы пришла полиция?

Князь слушал с той же полуулыбкой.

– Император Александр слишком умен, чтобы преследовать за разговоры. После победы над Наполеоном создавались даже тайные общества, ставившие своей целью просвещение и помощь правительству.

Князь помолчал. Только стук копыт по свежему снегу.

– Но император отказался от реформ. Один мой знакомый недавно сказал: пора бы и нам остепениться.

– Ваш знакомый – дурак, – выпалил Яков. – Самому отказываться от устремлений в жизни?

– Вы знаете, что мало кто так говорит? – Оболенский взглянул на него пристально, будто заглядывал в душу. Снежинки поблескивали в светлых кудрях, на меховом воротнике. – Что ж... если у вас есть мечта, не забывайте о ней. Но, думаю, вы не забудете.

Яков кивнул и отвернулся. Луна сияла в ясной ночи, все было так ясно сейчас – и город, расстилавшийся вокруг него, и то, что было в его собственном сердце. Свежий снег искрился под полной луной, скрипел под полозьями. Они проехали и Крюков канал, и Никольский рынок, выехали на перекресток, где справа собор Николы-Морского, а слева на углу – их штаб гвардейской пехоты. А ему хотелось, чтобы эта дорога не кончалась никогда.

– Если бы тайное общество хотело только блага, то не осталось бы тайной, – Яков опять не выдержал молчания. – Нашли бы сторонников, даже и в правительстве.

– Как нашел сторонников граф Сперанский. Как нашли справедливость солдаты Семёновского полка. – Князь замолчал, отстранившись. Они уже въезжали во двор. Пора было прощаться. Яков не знал, что сказать, но Оболенский сам подошел к нему.

– До завтра, Яков. Буду рад поспорить с вами еще раз.

– А вы, кажется, любите говорить о политике.

– Да, – просто сказал князь. – А вы разве нет?

В ворота громады Гарновского дома Яков вошел в самом веселом настроении. Он съехал отсюда, из казарм Измайловского полка, в сентябре, когда получил место при штабе генерала Бистрома, но все его приятели были здесь.

В офицерском собрании было шумно, табачный дым клубился под потолком. Стучали шары в купленном вскладчину бильярде; кто-то с лязгом начищал шпагу; кто-то за зелёным сукном матерился – явно проигрывал. Свою компанию Яков нашёл у библиотеки: спорили вполголоса, но с жаром.

Его заметили, хлопали по плечам, поздравляли с триумфом, нахлобучили венки из кухонного лавра, всучили «Полярную звезду», с наклеенным новым заглавием и карикатурой на автора, и начали шутить:

– М-м-монолог свой дочитал?

– Ну как там в штабе?

– Всех высочайших особ видел? С императором чай пил?

– Да пошли вы! – отмахнулся Яков. Его служба пока сводилась к графикам учений и переписыванию бумаг.

– А что за шум? Вас со двора слышно.

– А Львов выделяется.

– Я не выделяюсь, – оскорбленно возражал Саша Львов, его лучший друг и однокашник по Пажескому корпусу. – Я просто не хочу больше участвовать во зле.

– Во зле! – буркнул здоровяк Богданов, постарше их и уже капитан. – Ну ты загнул. Ты же офицер – служишь отечеству.

– Служу? – вскипел Саша, шваркнув в сундук еще один тяжёлый том. – Вот моя служба: «Готовься! На караул! На руку!» Каждый день учения для парадов, а стреляем раз в год – пять патронов на человека. А если рядовой не так держит ружьё – я должен всыпать ему палок. Или сам получу выговор.

Саша забрал последнюю книжку, захлопнул сундук.

– С меня хватит. Женюсь на Анюте, наведём порядок в деревне. В этом я больше участвовать не хочу.

– Так там ты сделаешься помещик, – это явился четвертый из их компании, игрок и задира Кожевников. – Гарем себе заведёшь. А что? Закон позволяет.

– Что вы заладили вообще? – проворчал Богданов, придвинул к себе котелок трактирной ухи, опустил голову. – Служится и служи себе.

– Хочешь делать карьеру – держись подальше от Рылеева, – посоветовал миляга Траскин, оторвавшись от полировки и без того блестящих ногтей. – У него, конечно, тиражи, гонорары... Но я не понимаю, как его ещё не посадили. Может, тебе в придворную? Мундиры у них – ах!

– Ага, ждут его при дворе, – буркнул Кожевников. – Сам заика, и матушка купчиха.

Яков уже пожалел, что пришёл. Его приятели все были молоды, не дураки, с образованием, с карьерой в столице – и не видели для себя ничего лучше, чем слоняться без дела в придворной службе, или маршировать в строевой, или уйти в отставку и похоронить себя в деревне.

– Пришли мне номер, когда тебя напечатают, – Саша хлопнул его по плечу. – Буду в нашей глуши хвастаться, что знаком со знаменитым поэтом!

И вернул ему книги – и Макиавелли, и «Жизнеописание Наполеона» – тома, которыми они зачитывались в корпусе, в пору честолюбивых мечтаний.

Солнце косыми лучами падало на столик, где накрыт был чай на двоих. В углу на ткацком станке расцветал пунцовый розан – рукоделие дочери. На стенах просторной гостиной висели портреты императора и семейства, министров и генералов – но ни одного портрета хозяина. Квартира казалась музеем, хотя ее хозяин был жив и не так уж стар.

Напротив него сидел человек, которым Яков не мог бы стать никогда – и не хотел становиться. Взлет – высочайший, карьера блистательная. Ссылка – без приговора, возвращение без прощения. Почетная должность в Государственном совете, не решающая ничего. После ссылки Михаил Михайлович Сперанский больше никому не доверял – но согласился дать совет сыну старого друга.

– Должность адъютанта у генерала Бистрома – это большой успех в ваших годах и в вашем положении, – журчал Сперанский хорошо поставленным голосом. – В ваших силах продолжать столь же уверенно. Я слышал, вы сочиняете. Полк лейб-гвардии сапёров пользуется особой любовью великого князя Николая Павловича. Умело преподнесённая история этого полка может обеспечить вам покровительство...

– Вы в начале службы тоже нечто такое писали? – спросил Яков придушенным голосом. Сперанский вздохнул. На высоком лбу углубились морщины.

– Не в том дело, что я писал в двадцать. Вам будет полезнее то, что я усвоил в сорок. Юность всегда хочет долететь до звёзд, исправить всю несправедливость... и всегда обжигает крылья.

– Притча об Икаре, верно? – Яков едва сдержал обиду. – И что делать предполагаемому юнцу?

– Идти пешком! – вспыхнул Сперанский. Взял себя в руки и продолжал очень сдержанно: – Наше государство таково, каково есть – и вряд ли изменится. Ваши возможности – не безграничны. Где ваш талант принесёт наибольшую пользу? Погреть пару лет в журналах, поругать правительство, промечтать – и ничего не добиться? Это не зрелость. Зрелость – найти дорогу, которая вам доступна, и не отступать от нее. Не терзаться несбыточным. Не упускать того, что у вас есть.

В серых глазах горел бесцветный огонь – тот самый, что позволил ему из нищих поповичей стать вторым человеком в империи: создавать министерства, писать законы и проекты реформ, перевернувших бы все. Яков видел его в анфиладах дворца.

Михаил Михайлович Сперанский, пятидесяти трех лет, моложав и строен, во белейшем шейном платке и черном бархатном фраке, идет по придворным делам. Приветствия сдержанно-вежливы, поклоны – по рангу. Михаил Михайлович усерден, благонадежен, бессилён – не опасен ни для кого.

Тик-ток. Тик-ток. Золотые часы не спеша отбивали минуты.

– Спасибо, – выдавил Яков. – Вы были добры ко мне.

– Дело не в доброте, – отрезал Сперанский. Пламя в серых глазах погасло. – Я сказал вам факты.

Яков вышел в гвалт Гостиного двора. Пестрые шляпки, суета лихачей, ругань у лавок – всё резало глаз. Он так долго добивался этой встречи – что ж теперь так горько?

Бомм. Бомм. Бомм. Поверх шума бил медленный колокол Армянской церкви. В угловом окне Яков увидел знакомый профиль – Сперанский махнул рукой, будто благословляя в дорогу.

– Берегись!!

На него неслась тройка вороных – Яков едва отпрыгнул, поскользнулся, упал в грязный снег. Кучер осадил лошадей – той же жижей его окатило по шею. Из экипажа – золотой герб, два лакея на запятках – выскочил юноша, красивый как Аполлон, если бы Аполлон носил соболиную шубу. Лакей бежал перед хозяином, лопатой разгребая снег, но замешкался; шеголь скривился, глянул на свои сапоги – ударил слугу по лицу и пошел себе дальше. Второй лакей уж бежал за ним. Побитый остался в снегу, кровь текла из носа. Яков, не зная почему, поднял лопату и подал ему. Слуга кивнул, промямлил «благодарю-с», утерся. И только когда Яков отвернулся – шмыгнул носом. Вспомнилось вдруг, как низко Сперанский кланялся другим вельможам, ничуть не выше его по должности.

Яков дошел до набережной, и город распахнулся перед ним. После вчерашней метели весь Петербург сверкал, как на рождественской картинке. Свежий снег припорошил и бедность, и беду. Перед ним была Нева с тонкой полоской еще не замерзшей воды, корабли в розовом мареве, силуэты фортов и дворцов – город, преображенный золотым светом. От этой красоты еще сильнее разгорелась тоска, непонятная, жгучая – будто город был обещанием, которое не сбудется никогда.

Всё не шёл из головы тот лакей у Гостиного – остроносый мальчишка, ни за что получивший в лицо. Не в том же было дело, что они были похожи – когда, оба на коленях в снегу, отразились в витрине торгового дома?

Якову этого не грозило.

А что ты получишь, если дальше пойдешь пешком, по совету Сперанского? – возразил негромкий голос в голове. Унижаться, угадывать все желания высочайших особ? По выслуге лет получать повышения?

Он разозлился. Столько дверей никогда не откроется перед ним. Образование, добрая служба, деньги – матушка была не так бедна – всё это не поможет. Он негоден для строевой службы – а карьеру сейчас нужно делать в строевой. Для статской у него нет покровителей, для дипломатической – не те средства. Литературой не проживешь, да и стихи его не очень-то хороши.

Он смотрел на город, раскрывшийся перед ним белой с золотым шкатулкой, и чувствовал себя стариком, на чьи плечи легло всё голубое небо. Право, глупо в двадцать два вздыхать о том, что не совершил подвига и не нашел себе дела, кроме переписки писем и составлений графика учений...

Почему же у тех, кто был у Рылеева, всё выходило так просто? Оболенский был князь – когда-нибудь мог бы прийти и до Государственного совета. Рылеев был известный поэт – его печатали в хрестоматиях – и успешен в делах. Капитан Торсон в Антарктике открывал острова; другой капитан, Бестужев, успевал и печататься, и математикой заниматься, и собирал музей русского флота. Даже те, кто ничего ещё не достиг – так держали себя, будто всё в их власти. Вот на что надеялся сын сенатора Пущина, когда бросил гвардию и пошёл в уголовный суд? Небольшие чины, мало кому известные имена – с чего они взяли, что могут что-то решить?

Перед ним блистал Петербург между небом и снегом. Глаза жег этот свет. Внутри сжимал всё голод, который – он знал сейчас – не утолить ни вином, ни обедом.

Уже вечность Яков стоял перед закрытой дверью – хотел постучать, но снова отдёргивал руку. Щёки горели, пальцы замёрзли, перчатки были в разводах от мокрого снега. Слева была канцелярия гвардейской пехоты, их секретарская комнатка и квартира генерала Бистрома. А здесь – квартира князя Оболенского.

Он был здесь вчера: семейный ужин, вся гостиная в князьях Оболенских – младшие братья, гордячка сестра, кузен-философ из Москвы, тётушка с расспросами о родне и вареньем. И в центре этой живой картины – разумеется, князь Евгений. Что ж ему неймётся? Почему он сам, подпоручик Ростовцев, не может найти покой?

Замирало дыхание, как перед пропастью. Он не шагнул еще, но знал, что шагнет, и тревога то накрывала волной, то отпускала, рассыпавшись дрожью по коже.

Яков толкнул дверь. Князь, в светло-голубом сюртуке и в вышитых тапочках, раскладывал стопки писем по ящичкам секретера и поднял голову – будто ждал его.

...У них и правда было не совсем светское общество.

Затаив дыхание, Яков слушал. Тайное общество, запрещённое в двадцать первом году, не было распущено – просто не называло себя вслух. Его цели – просвещение, благотворительность, распространение идей конституционного правления.

– И... всё?

Он ожидал чего-то большего – как в романах: кинжалы, маски, факела, собрания в масонском духе. Или братья Орловы, сказал голос рассудка. Или граф Зубов с табакеркой. Прошло всего двадцать пять лет с тех пор, как безумный император Павел был убит в последнем заговоре гвардии.

– Поверьте, и это – задача не из самых законных. Но если мы будем достаточно сильны, – Оболенский вёл пальцем по губам, будто отмерял каждое слово, – то при перемене правления

или ином удобном случае мы сможем склонить весы. В пользу ограничения самодержавной власти.

Ограничение самодержавной власти. Государственный переворот, обещанный тихим голосом в тихой гостиной. Оболенский никак не был похож на заговорщика. Светлые брови, светлые ресницы, лицо правильное, неяркое – лицо, на котором художник будто забыл прочертить тени. Яков представил, как Оболенский планирует переворот с той же точностью, с какой составлял расписание учений. Оболенский не мог, ни за что не стал бы действовать один. Но если он был не один?

Десять лет назад император Александр начал реформы: дал свободу крепостным в Эстляндии и Лифляндии, конституцию и парламент – Польше, пообещал то же России. Обещание не исполнил: разочаровался, увлекся парадом, отправил в отставку своих же реформаторов. Те, кто остался в правительстве, казались бессильны: Сперанский осторожничал, только адмирал Мордвинов, один из героев войны, все надоедал Совету конституционными проектами.

И при этом – разговоры против правительства в половине модных салонов; крамола, на которую полиция закрывает глаза. У Рылеева уже перешли от литературы к политике – генералу собрать войска и принудить короля подписать конституцию, как недавно в Испании. Революции, революции – везде, кроме Африки. Короны от Европы до Южной Америки падают с царственных голов.

Бездна разверзлась перед ним. Они поняли, на что идет игра. Если они проиграют – конец. Но если выиграют...

Яков закусил губу. Молчание было почти домашнее – будто сейчас обычный день, после занятий по канцелярии они сидят у Оболенского, каждый со своей книгой. Вдруг изморозь на окне вспыхнула золотым, загорелись русые волосы князя в отражении закатного солнца. Вот и знак, подумал Яков – и сам оборвал себя. Что за знак? Что за глупость – принимать такое решение из-за каприза погоды?

– Что будет, если я откажусь? – собственный голос звучал, как чужой.

Оболенский не выглядел разочарованным:

– Ничего. Я знаю, что вы умны и стремитесь к большему. Я верю, что вы будете умны для добра. Мы останемся сослуживцами. Я буду вас уважать и любить – как человека, который своим путем ищет истины.

– Мой родич барон Штейнгель с вами? – спросил Яков, зажмурившись.

– Да.

– Рылеев?

– Да.

– Сперанский?

– В нашем правительстве он будет первым.

– Тогда и я с вами, – выпалил он, как шагнул в пропасть, и увидел, как заискрились глаза князя.

Они обнялись. Яков не знал ни роли своей, ни обязанности, ни плана, но обвел глазами комнату и видел все как в медленном сне. Золотая изморозь на стекле; небо за замерзшим окном; синий сафьян забытой на столе книги; белые блики на острие шпаги в углу – все было ярко, как в день творения. Все бросалось в глаза, будто приближено в телескоп. Будто разум знал, что вспомнит этот миг и через тридцать лет, будто любая вещь знала об этом, стремясь оказаться в вечности – запомни меня, и меня, и меня!

2. ПРОИГРАННЫЙ ВОЗДУХ

В тот день Евгений солгал и друзьям, и домашним, и слугам, выехал из дому один.

Погода была конца ноября, отвратная; поземка царапала по подмерзшей грязи, конь спотыкался на льду. Ветер выл в подстриженных кронах Александровского бульвара; черная вода колыхалась под понтонным мостом. Мимо дворцов и казарм, мимо церквей и контор он ехал к морю, где город тонул в белом тумане; где среди домов бедноты он наизусть знал один. Толкнул калитку, и калитка была открыта. Мать убитого ждала в гости убийцу.

Вдова Смирнова сидела в своей тщательно убранной, холодной комнатке. За год не изменилось ничего, так же тикали часы, попискивала канарейка, в руках у вдовы был тот же молитвенник, только морщины стали глубже. Ее сын, навечно восемнадцати лет, в первом мундире прапорщика, так же глядел с портрета на стене. Когда Евгений вошел, она только кивнула.

– Вы привыкли, чтобы все было по-вашему, – сказала вдова уставшим, бесцветным голосом. Кажется, она уже считала себя умершей. – А вы ведь ничего не измените. Ничего не поправите. И долга своего, как ни старались, не отдадите.

Он заставил себя поглядеть в выцветшие глаза, когда отдавал ей деньги – и она их взяла, как всегда. Думал ли он в детстве, что его Эриния будет жить в домике на дальней окраине Васильевского!

– Может быть, в этом году получится.

– У нас точно есть шестьдесят тысяч штыков?

– Я не вижу причин не верить генерал-майору Волконскому.

На галерее особняка Трубецких было пусто – бал уже начался. За окнами был ледяной холод, огни на стрелке биржи, крепость под черным небом в мелких северных звездах. В темном окне двоилось и его отражение: он был старший сын и наследник старинного рода, плоть от плоти высшего дворянства империи – и он же был заговорщик, собравшийся отменить самые основы этого мира.

– Хорошо, что вы уже собираете старую гвардию, – сказал Евгений вместо приветствия. Хозяин дома ушел от гостей, будто ждал его.

С галереи Трубецкой обозревал гостей в зале – как шахматист, расставивший фигуры на доске. Здесь были те, которых Евгений знал по иным собраниям. Мелькали в разноцветной толпе черный бархатный фрак Сперанского, строгий профиль генерала Перовского, мохнатая шевелюра генерал-адъютанта Шипова; его брат, полковник Шипов, шутил с рыжим полковником Моллером из Финского полка. Все – герои войны, полковники и генералы, основатели тайного общества после побед над Наполеоном. Старая гвардия, из которой князь Сергей Трубецкой последний остался в строю.

Трубецкой глянул на него снисходительно и спокойно. Он пару дней как вернулся из Киева после года отсутствия, а говорил со спокойствием основателя.

– Не спешите, Евгений. Если станет известно, что войска у нас есть – не так сложно будет найти поддержку в столице.

– Год назад вы говорили другое, – Евгений не смог удержаться от упрёка. В 1824 году полковник Пестель из Южного общества приехал в столицу договариваться – и он, Евгений, за три месяца почти добился планов совместных действий. А потом Трубецкой за неделю развалил всё.

– Год назад сговорились бы литературный кружок и пара полковых командиров. – поправил его Трубецкой, не меняясь в лице. – А теперь мы можем поднять большую часть Первой и Второй армии. Если вести разговоры о смене государственной власти – я предпочту вести их с теми, кто может добиться результата.

Так же неслышно подошел старый дворецкий Трубецкого, Иона Данилович, поднес шампанского; сухопарый, с выправкой, как у солдата, он один входил к хозяину, когда велись не самые послушные разговоры. Новый лакей, с полотенцем на руке, высовывал из-за колонн длинную шею, не решаясь подойти ближе.

Вдруг как наяву Евгений увидел их всех – внизу, в кухне, кухарка утирала лоб в кругах пара, пробуя соус на вкус; снаружи кучера грели руки у разведенного для них костра, ожидая своих господ; лакей лавировал между гостей, стараясь не расплескать охладительное...

– При нашем успехе мы больше не сможем давать таких балов.

– Я знаю, – просто ответил Трубецкой. – Ну что же – за республику?

– За республику! – тихо зазвенели бокалы, на фоне гремящего бала негромко прозвучал этот еще неслыханный тост. За Российскую республику! – за отмену рабства, за общий для всех суд, за ограничение ничем не ограниченной верховной власти; за государственный переворот и конец самодержавной монархии.

– Мы задержались, – напомнил Трубецкой. – Пора идти к гостям.

Евгений вошел в этот блестящий водоворот, как в театр. Кланялся дамам, жал руки мужчинам, справлялся о службе и детях, сам уклонялся от вопросов, пока младшая сестра не поймала его за руку.

– Я уж думала, ты не придешь проводить меня. Опять ваши гвардейские дела? Ты знаешь, что Лиза Голицына с тебя глаз не сводит?

У зеркал в золоченых оправах, окруженная стайкой прочих девиц, блистательная Лиза Голицына приняла бокал у Кости (брат все пытался поймать ее взгляд), а сама всё поглядывала в сторону Евгения. Заискрились глаза, еще горделивей расправились плечи, дрогнуло перышко на жемчужном эгрете.

– Лиза очень мила. – Наташа с интересом наблюдала за его смущением.

– Лиза умна, но вместо меня глядит на мои эполеты.

– А Оля в Москве была слишком застенчива, – Наташа только фыркнула. – Понимаю: твоя избранница должна быть умна, как Катерина Ивановна, прекрасна, как Воронцова, верна, как Муравьева... и терпела твои причуды – как я.

– Почему мне нельзя на тебе и жениться? Не смейся!

Наташа погрозила ему, утирая глаза от смеха – потом будто стряхнула с себя веселость. Грудь вздымалась и шла мурашками.

– Как ты думаешь – стоит мне выходить за князя Андрея?

– Наташенька, я не знаю. Ты его любишь?

– Да, – она улыбнулась своим мыслям, сильнее прижалась к его плечу. – Но это навсегда, понимаешь? Я не знаю.

– Представь, что его сослали, – вырвалось у него. – Что он разорен – ни наследства, ни карьеры, ни московского дома. Только вы вдвоем друг у друга. Тогда ты скажешь «да»?

На белой перчатке – след от капли воска. Сестра вздрогнула, провела рукой по обнаженным ключицам – и расцвела в улыбке, когда к ним подплыла хозяйка дома. Как повезло Трубецкому, подумал Евгений. Никто не назвал бы Катерину Ивановну Трубецкую, урожденную Лаваль, первой красавицей Петербурга, и никто не уходил с ее бала, не будучи ей очарован.

– Евгений сегодня всё говорит загадками. Я чего-то не знаю? Моего Андрея могут отправить в отставку? – Наташа больше не улыбалась.

– Натали, мужчины все любят говорить загадками. – Невысокая, пышно сложенная, с курносом носом и полными губами, всегда готовыми расплыться в улыбке, сейчас Трубецкая была серьезна. – Вам не нужно беспокоиться о том, что вы никак не сможете изменить.

С шелканьем Трубецкая складывала и раскладывала резной веер слоновой кости, держа его как кинжал. Евгений всегда любовался веселой быстротой ее ума, щедростью кипевшей в ней жизни; сейчас это оборачивалось угрозой. Знала ли Трубецкая? Теперь он уверился – знала.

Наташа сильнее сжала губы, тряхнула кудрями.

– Тогда пойдем танцевать – мазурка!

Оркестр грянул мазурку. Наташа втянула его в круг пар, то распадавшихся, то соединявшихся вновь. Отплясала первую фигуру, вторую, третью – прыгали кудри по округлым плечам; с азартом хлопала, когда он выплясывал свое соло, схватила брата за руку, когда пары опять сошлись. Рука была горяча сквозь перчатку.

– Отец заложил Рождествено, – Наташа повела плечами, будто сквозняк проскользнул по зале. – Если будешь влюбляться – влюбись в кого-нибудь с приданным.

Шум, хохот – в котильоне танец дробился на кресты и круги, дамы со смехом выбирали сражавшихся за них кавалеров. Опять закружился блестящий вихрь шелка и атласа, жемчугов, и каменьев, и золотая эполет – блеск, оплаченный даровым трудом миллионов белых рабов, их молчанием, потом и кровью.

Пять с небольшим месяцев до восстания, одним из первых указов которого будет отменено крепостное право. Сто шестьдесят два дня, и заговорщик Евгений сделает самый решительный шаг к разорению своего семейства.

Будто два Евгения скользило на балу. Через сто шестьдесят два дня эта двойная жизнь должна будет закончиться.

В гостиной был шум и смех, между кубиков – чашки с остывшим чаем, и Сережа опять утащил себе крендели. Младшие играли в настольную игру «Путешествие по России». Евгений задержался в дверях, запоминая, как это – почти вся семья в сборе. Завтра Наташа уезжала домой, в Рождествено.

– Это не по правилам! – Сережа по-детски швырнул свой кубик о стол: два очка – и его ездок застрял во Владимире.

– Господи, даже в игре я не могу сделать, что хочу, – Наташа скривила гримаску: ее карета была дальше всех, в Казани.

Подросток Дима насупился; Евгений шагнул к столу. Его роль была привычная: как старший брат он был миротворец.

– А если бы мы могли делать что хотели – вот что бы вы сделали?

Младшие открыли рты. Их никогда не спрашивали о таком. Для князей Оболенских самым почетным делом считалась гвардейская служба, поэтому Диму и Сережу ждал Пажеский корпус.

– Я хотел бы закончить курс с отличием и получить место секретаря у министра просвещения, – осторожно сказал Никитенко. Судя по фишкам, ему везло, но он отставал – будто боялся выиграть у своих учеников.

Наташа фыркнула и поставила обратно на карту своего игрока, делая огромные, невозможные в игре шаги: Казань – Москва – Смоленск – Вильно – Баден – Страсбург – Париж.

– А я поехала бы с тобой в Париж. У меня вся жизнь на то, чтобы стать примерной женой и матерью; могу я один раз съездить в Париж с любимым братом?

– Я не могу, Наташенька. – горло перехватило. Евгений подбросил кубик, еще раз, еще – не глядя на выпавший жребий.

В следующем году он никак не может быть в Париже.

Первого мая 1826 года – смотр Первой армии в Белой Церкви. Белые хаты, весенняя пыль, тополя и черешни; ряды армейских палаток, безукоризненный строй, треск барабанов в воздухе. Император Александр выезжает к мятежному полку.

Южное общество больше не собирается никого ждать. Готовимся к вероятному – император будет убит.

До столицы – тысяча семьсот верст: фельдъегерь сможет добраться за девять или десять дней. Александр убит, его наследник Константин – далеко, в Варшаве. В столице – младшие братья. Николай, бригадный командир и любитель порядка; Михаил, недалекость ума заменявший старанием; семилетний сын Николая, царевич Александр...

Когда новости о смерти императора достигнут столицы – нужно сделать так, чтобы ни один из наследников Романовых не получил, как веками до того – ничем не ограниченной власти.

В штабе гвардейской пехоты было тихо. Император Александр уехал на юг еще в сентябре; пару дней назад пришли вести о том, что он задерживается в Таганроге после легкой простуды. Генерал Бистром уехал во дворец; в канцелярии никого не было, кроме них с Ростовцевым. За кипой дел едва виднелась макушка Якова (темные пряди были прилизаны по уставу, но все равно торчали в стороны); перо усердно скрипело.

Скрип оборвался. Яков застонал, воздел руки к небу и метнул ему толстую папку. Евгений выхватил лист.

– *«Повеление Его Императорского Величества о заведении в каждом пехотном полку ведра, багра и лома для пожаротушения»*. Н-да. Без высочайшего повеления ведро в полку не заведется.

Яков прыснул, потряс рукой в пятнах чернил. На левой щеке тоже были чернила.

– Теперь я знаю, почему ты так спокоен. Занимаешься этой морокой и думаешь об общем деле.

«Общее дело» у него выходило без заминки, а «ты» – с некоторым знаком вопроса.

– Я-то что. Один мой знакомец в штабе заскучал так, что написал конституционный проект. Нужно будет вас познакомить, когда он будет в Петербурге.

– Он из Второй армии, да? – Яков зачастил, будто выискивал след. – Ты говорил позавчера, что ваши есть во Второй армии. Вы так и связываетесь – курьерами? Он повезет приказ из столицы?

Не сразу дождавшись ответа, Яков моргнул – и затараторил так же быстро:

– Д-да, знаешь, я д-думаю, много курьеров несется п-по нашему государству, везет очень важные бумаги – вот это повеление о ведрах и баграх...

Вряд ли сам он знал, как резко менялось его лицо в зависимости оттого, с кем он разговаривал и насколько уверен был в разговоре. Из глаз пропал интерес, веселость исчезла, разгладилась в маску идеального секретаря. Яков Ростовцев был умен, Яков Ростовцев был честолюбив – и как хорошо, что он теперь был свой и что с ним было можно говорить открыто.

– Ты прав – два раза из трех. Да, во Второй армии наших еще больше, чем в столице. Да, приходится ездить самим. Но мы им не приказываем, и они нам – тоже. Странно было бы мечтать о республике, а у себя сразу устроить диктатуру!

Яков кивал настороженно, жадно, но больше не спрашивал ничего. Захотелось подбодрить его.

– Заходи ко мне вечером. У меня хорошая мадейра – выпьем наконец за дружбу. И если хочешь что-то спросить – спрашивай.

– Что я могу сделать для общества?

– Потерпи немного, – рассмеялся Евгений, глядя в остроносое лицо, будто подсвеченное невидимым огнем. – Ты говорил, что у тебя друзья в Измайловском полку?

Яков покусывал кончик пера, перебирая знакомых. Траскин и его компания – точно нет; Галатов – точно нет, Фок и Андреев – наверно нет; капитан Богданов – непонятно; кто знает, что у него на уме. Александр Львов – очень возможно; да, он собирается в отставку, но он очень умен; позавчера он хотел убедить офицерское собрание в преимуществах парламента. Может, еще Кожевников из второй роты...

Сквозь двойные стекла пробился печальный гул – колокола Никольского морского собора. Еще один молебен о выздоровлении государя, застрявшего в Таганроге.

– Как ты думаешь, он ведь выздоровеет? – спросил Яков с сочувствием.

Если император выздоровеет, то это продлит его жизнь лишь на полгода. До первого мая двадцать шестого года, до императорского смотра Первой армии в Белой Церкви. Но за эти полгода нужно успеть то, что тайное общество не смогло сделать за пять лет. И потому лучше было бы, если б император выздоровел.

Колокола не смолкали – звон громче любого молебна. На площади росло столпотворение. Во двор влетел курьер, кинулся в дом. Тулуп был весь в снежной пыли, на длинных усах намерзли льдинки. Вручил им письмо – генералу Бистрому лично в руки – потом хрипло выдохнул: «Государь скончался!» – и с грохотом сбежал вниз по лестнице.

Яков встал из-за стола, глядел на Евгения с испуганным изумлением, как на очень важную персону – много важнее его самого.

– Нужно срочно найти генерала Бистрома. – Евгений взял его за плечи. – Сможешь побыть курьером?

Яков закивал, схватил шинель, вылетел за дверь. К счастью, он не спросил ничего. Колокола звонили и звонили по почившему императору. По безвозвратному, упущенному шансу.

На лицах всех собравшихся в квартире Рылеева проступал один и тот же безнадежный ноябрь. Под зеленой лампой – пятеро, от полковника до поручика. Тайное общество, не успевшее ничего начать, уже потерпевшее поражение.

– Где ваши генералы, где ваша артиллерия, где ваша сила? – капитан Николай Бестужев не повышал голоса.

– В самом деле, обидно, – подлил масла в огонь его брат Александр. – Хотели действовать при перемене престола, а перемену-то и пропустили.

Моряк Николай стоял наглухо застегнут в своем синем флотском мундире, только двигались желваки на сухом лице. Романтический писатель Александр в щегольски распахнутом драгунском мундире опасно покачивался на стуле, подкидывая в воздухе новый – константинов – рубль. Они были родные братья.

– Наши генералы... Были, да сплыли. – Рылеев тер виски; вид у него был совершенно больной. – Орлов, Шиповы, Перовские, Моллер... Потеряли интерес, когда мы ещё грезили просвещением. Но подождите, может, мы можем...

– О нас и так стало слишком известно, – отрезал Трубецкой, возвышаясь над растерянным собранием. – Мы объявим о роспуске общества. Верные пусть останутся в гвардии. Тогда при удачном моменте мы будем более уверены в успехе.

Все это уже не имело значения. Император Александр правил двадцать пять лет, возбудил надежды на лучшее правление и потом сам разрушил их, победил Наполеона – и загнал своих солдат в рабство военных поселений. Против Александра давно копилось недовольство. Но новый император Константин, герой всех прошлых войн, давно был в Варшаве. Там были конституция и сейм – мечта либералов; там была короткая восьмилетняя служба – мечта солдат. Мало кто помянет его неблагоприятные дела в столице. Кто вспомнит о старике графе Штапельберге, которому Константин сломал руку прямо на приеме у императрицы Екатерины? О том, как Константин в шутку стрелял по своей пятнадцатилетней жене из пистолета? Кто вспомнит об отказавшей ему несчастной госпоже Арауж? Силой ее привезли в Мраморный дворец; Константин, надругавшись над ней, отдал ее своей охране; еле живую ее отослали домой поутру – и причиной смерти объявили эпилептический припадок. Молчание ее родных было куплено – мало кто вспомнит о том. От Константина будут ждать милостей, на Константина будут надеяться еще лет двадцать пять.

Евгений глянул в окно: сквозь изморозь виднелся ряд домов, занесенная снегом стройка, змеиное русло Мойки, остов лодки, вмерзший в лед под Синим мостом. Подо льдом была быстрая река, в которую, как известно, нельзя войти дважды.

У Андрие на Малой Морской младший брат и кузен заказали всего столичного, дорогого – утешали, как могли.

– Вас, кажется, отец просил экономить? – подшучивал кузен Серж, отгоняя запах лимбургского сыра.

– Устриц в Москве нет, – Костя разлил на троих оставшееся вино. – Сегодня гуляем. За возвращение блудного сына!

– Не будь так нетерпелив, – кузен Серж положил Евгению руку на плечо. – Я читал ваш конституционный проект. Если парламентаризм в самом деле наилучшая форма государственного устройства, то он распространится по миру и так – никто же не спорит с прививанием оспы или с достоинствами паровой машины. Возможно, через двадцать лет наши сыновья будут голосовать, как в Британии, или сами избираться в парламент...

Кузен Серж обладал счастливым даром верить в хорошее.

Обед все гремел, фраки сменились мундирами, к Косте подседа компания, какие-то Эльский и Энский из кавалергардов, благоразумный Серж ушел домой, а Евгений все сидел за нетронутой рюмкой. Энский подкручивал ус, вздыхал о цыганках, Эльский шикал на него – государь умер, какие цыганки. Говорили о чинах и дуэлях, о девицах и лошадях. Костя все пытался подлить ему вина и с третьей попытки сдался.

Это было хорошее время. Союз Благоденствия, долг гражданина, пометки Трубецкого на полях конституции... Вместо переворота мы занимались дебатами. Хотели обойтись без жертв – и упустили время.

Шум и ругань – Костя пьян и в ярости; Энский распушил усы:

– Капитан Якубович герой!

– Нет, сей господин мерзавец, и кто его защищает – таков же!

– Вы меня сейчас, милстигсдарь, назвали мерзавцем?!

– За вас говорит вино, – похолодев, Евгений вскочил между спорщиками. – Идите спать, господа. Завтра договорите.

Пьяные отшатнулись. Он заплатил за всех в долг, вытянул из присмирившего на морозе Энского его адрес, посадил на извозчика и только сев в свои сани – выдохнул. Костя привалился к его плечу.

– Жень, да я не стал бы стреляться с этим дерьмом. А стал бы – что с того... – Голова дернулась и упала на грудь. – Сам знаешь – ничего страшного...

Евгений уткнулся в затылок брата. Мягкие пегие волосы пахли табаком, щекотали нос. Медвежья доха была натянута до подбородка, но и под ней Евгений казался себе ледяной статуей. Костя был жив и здоров, просто пьян. А он испугался, как пять лет назад – опять вызов, опять дуэль. Как он испугался тогда, что привезет домой мертвеца. Но тогда мертвеца привезли в другой дом.

Восстания не будет. Жизнь продолжалась, и Костя был к полудню пьян. Евгений вернулся домой.

– Генерал не спрашивал меня?

– Я сказал, что вы по делам в казармы, – буркнул кучер Семен, чистя упряжь со зверским выражением.

– Что у тебя, Сема?

Семен отвернулся – да ничего, барин – поднялся со своей низкой скамеечки, взял у него промерзшую шинель. Денщик Егор Савельич прошаркал за щетками ее чистить. Семен с его мрачной рожей был идеален для отговорок – второй раз обычно не спрашивали.

Евгений все же спросил – и через час выехал из-за ворот. Снежная пыль летела в лицо. Купец Шишкин, словно карауливший его из окон своей лавки, расплылся в масляной улыбке – добро пожаловать-с. Евгений поспешно отвернулся.

– У вас семьсот рублей долга там. Опять приходили, – напомнил Семен, обернувшись с облучка.

– Я вообще не знаю, сколько мне понадобится денег, – бросил Евгений. – Вот что ты от меня хочешь?

В покосившийся мезонин к помещице Дормидонтовой Евгений вошел как к себе домой, скинул шинель на соболином меху на руки веснушчатой девчонке, со щелчком открыл золотой брегет: сколько можно ждать. Потускневшее зеркало отражало лондонского денди. Рубашка была так бела – чуть не светилась в полутьме. У ворот била копытами тройка орловских рысаков, экипаж с фамильным гербом. Евгений надеялся, что для госпожи Дормидонтовой это будет достаточно.

Через час он вышел из чертова мезонина; за ним бежала девчонка, вцепившись в жидкий узелок своих вещей. Госпожа Дормидонтова была так ошарашена визитом сиятельного гостя, что продала ему свою горничную без всяких вопросов.

Еще через час Евгений сидел у поверенного в гражданской палате: девице Авдотье Макаровой выправляли паспорт и вольную. Девица Авдотья закусила губу, как молилась. На побелевших щеках еще сильнее проступили веснушки. Поверенный старательно скрипел пером, поясняя каждое слово:

– Купчая ваша в полнейшем порядке, подпись вашей светлости заверять не нужно; вот с извольте вольную, и паспорт мещанки-с ей выпишем... Ему тоже?

– А вы бумагу подготовьте мне и печать поставьте, – сказал Евгений. – А я потом все напишу.

Он не знал, зачем взял паспорт Семена. Семена он освободить никак не мог – Семен был собственностью отца. И если вольная выходила замуж за крепостного, то оказывалась в рабстве опять.

В людской пахло вчерашним обедом, ваксой для сапог и почему-то кошкой. Волосы растрепались и лезли на лоб, рубашка пахла потом и соленьями, которые ему Савельич то и дело подкладывал – то огурчиков, то грибочков. Штоф водки был почат на четверых, но Савельич стоял у двери и гонял денщиков генерала Бистрома, которым хотелось поглядеть на невиданное зрелище – барин в людскую пришел и со слугами пьет на кухне.

Не хотелось выходить отсюда. Здесь он хотя бы для этих двоих что-то смог изменить. Это было безрассудно, он нарушил все возможные правила, ему было еще объясняться с отцом... Сегодня, именно сегодня – он не смог иначе. Это было, как сказал бы Яков, дело милосердное, но малоосмысленное. Он смог выкупить эту одну Авдотью, еще глубже залезши в долги, но он не мог освободить Семена. В мыслях Евгений уже сочинял письмо – «Я хотел бы освободить Семена...» – или приехать к отцу, привезти ему гербовый бланк – батюшка, только подпишите...

Отец, любя старшего сына, даже мог согласиться – но не тогда, когда в счет долгов (триста сорок тысяч долгов на тридцать тысяч годового дохода) заложил своих крепостных и деревню.

– Помнишь Денисовну? – спросил он Семена.

– Как не помнить Ирину Денисовну? – Семен воззрился на хозяина даже с осуждением. – Все наши ее помнят.

– Она была моей няней, – объяснил Евгений. – И моя, и Кости. Она была добрая... Но в мои семь лет отец выписал мадам и месье Стадлер... А потом и Костя подросток.

– А Ирину Денисовну и продали потом, – пояснил Семен.

– Мол, англичанам-гувернерам и так платить, а няня только детей разбалует. Месье Стадлер пришел в ужас, когда дознался, почему я так невзлюбил его. Ходил потом к отцу, просил... Но все уже.

Чья-то рука накрыла его руку.

Авдотья.

– А вы в молитовке ее поминаете? – Авдотья жалела его. – Я все семейство, о ком больше не знаю, по два раза в день поминаю. Кто нас любил – они, знаете, всегда с нами.

На запястье темнела короста как от ожога.

– Марфа Ивановна так-то была незлая, – пояснила Авдотья и глотнула водки, не закашлявшись. Кажется, ее начинало трясти. – Да год назад начала чудить. Я вот хотела, как у Неплюевых ключница сделала – нужно украсть, в лавке там, или в учреждении – чтоб точно попасться. Осудят, отправят на каторгу лет на пять, а потом свободна. Что она потом, в Сибири меня будет искать?

Семен сжал ее руку.

– Но я потом подумала – сбегу я, а он-то как? Где я его найду после женской каторги? Да и... а вдруг в лавке-то не исправника позовут, а к ней сначала отправят. Она-то полицию звать не будет.

Она говорила так бесхитростно, так просто. Евгений не знал, что ответить ей – все его горести были с тем несравнимы. Круглое лицо осветилось свечой, и на шее, тоже в россыпи веснушек, были лиловые пятна. Сегодня он смог помочь ей; больше он не смог ничего.

Месяц светил в окно, заливая все кладбищенским белым светом. Рядом мирно похрапывал Костя – так и проспал все на свете. Савельич все причитал, что ж молодой барин целый день уставший, когда вечером стягивал с Кости сапоги.

– Егор? – Старик поднял голову, явно не понимая, что барин хочет.

– У тебя же где-то есть родня. До того, как тебя в рекруты забрали. Если адрес помнишь – ты бы написал им.

Савельич передернул сгорбленными плечами. Егор Савельич был богомолец и стоик; Евгений помнил его, сколько себя помнил. Савельич был денщик еще его отца. Старый солдат из тех, кого в прошлом веке призывали на пожизненную службу, он служил еще с Суворовым, да с тех пор хромал и для строя был непригоден, поэтому и отведен был в денщики – в лакеи и няньки. Отец к нему привык, и потому, когда уходил в отставку, устроил так, чтобы казенную прислугу – то есть денщика – забрать с собой домой; было, вообще говоря, не положено, но дело устроилось.

Савельич только отряхнул Евгению мундир – как маленькому – стянул с сопевшего Кости второй сапог, да и зашаркал в свою швейцарскую.

За изразцовой стеной гудела голландская печь. В темноте – только очертания знакомых вещей: книжный шкаф, миниатюры родных на стене, в углу шпага, у окна конторка и секретер, стопки писем – черное на черном. Сейчас он готов был отдать все это – любовь друзей и родни, богатство, земное счастье – за второй миллионный шанс, за проигранный воздух.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.